

**Алексей Николаевич Толстой**  
**На рыбной ловле**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=153633](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153633)*

Алексей Толстой. На рыбной ловле

# Алексей Толстой

## На рыбной ловле

– Место наше глухое, нелюдимое, где тут человеку жить!..

Иван Степанович плюнул на червяка и закинул удочку. Едва текли струи зеркальной реки, не колыхалась лодка, стоймя торчал камышевый поплавок. Иван Степанович смиренно глядел на воду. Некуда торопиться рыбаку, – сиди под соломенной шляпой, шурься на влажный свет, дожидайся, когда в темную воду нырнет поплавок.

– Нелюдимые, глухие наши места, – опять сказал Иван Степанович, – одна слава, что город. Непонятно – в каком веке живем: не то в семнадцатом, не то еще в каком-нибудь. До железной дороги – семьдесят верст проселками. У нас даже и бандитов нет. Забрался один в прошлом году, вихрястый, – такая взяла его тоска: «Вы, говорит, не люди, а мох», – плюнул, ушел назад проселками. Одна отрада – рыбы много. Я, вот, извините, фельдшер, человек сознательный, но и то растерялся, – такая у нас глушь, чепуха. Почитаешь газету: что же это такое пишут, где такие люди живут? В Москве за Крымским мостом железную башню по-

строили – и с нее разговаривают кругом земного шара... Этот бандит-то в прошлом году рассказывал: залезет, говорит, на башню телеграфист, большевик, и начинает обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию кроет матом... Сперва, говорит, мировая буржуазия никак не могла понять: в Америке, в Австралии, на кораблях принимают и принимают какие-то слова. Позвали спецов. Те говорят: это матерное, это из Москвы вас кроют.

Поплавок мигнул и опять повис в зеркальной воде. У Ивана Степановича позеленели глаза, – насторожился.

– Рыбы много, а сытая. Какая ей наживка нужна – чума ее знает. На прошлой неделе попался мне сазан, – часа три гонял меня по реке. Видит – податься ему некуда: к Ивану Степановичу, значит, на крючок попал, сазан-то и оробел, но как-то, чума его знает, сорвался. Нет, городишко наш затхлый, на краю земли живем, не проникнет сюда луч сознания. Бандит этот, вихрястый, на базаре говорил: будто теперь вводится новый натуральный налог на нас – обывателей: каждый человек должен представить в местный исполком по сто двадцати воробьев битых и по два зайца с души. Поди, не представь! А ружья, порох – у населения отобрали, чем хочешь, тем и бей. Спасибо дьякон догадался: мышьяком, говорит, травите воробьев. За осень столько этих птиц извели, куры сталидохнуть, только тогда бросили травить. А то у каждого на погребнице кадушка соленых воробьев стояла. Эх, Москва, Москва!..

Поплавок опять сильно дернуло. Иван Степанович подсек и вытянул пустой крючок.

– Видишь – червячка-то и съели. Непременно это шилишпер. Наглая рыба, а гордиться бы ему и не с чего: костистый да постный. Прошлую осень ловлю с берега. Ну, хорошо. Потянуло, – без озорства, тянет сильно. Я к себе, он – к себе. И выходит на песок налим, фунтов на девять, почтенный, ленивый, вьется, как змей, и крючечек у него из губы и выскользнул. Беда! Кинулся я на него, вода студеная, я его ногтями. И он не торопится, вывертывается, ушел в речку. Нет, рыбу ловить хлебнешь горя! А скажите – правду рассказывают: под Царицыным упал камень шестнадцать верст длиной, побил неисчислимо народу, неисчислимо сожгло хлебов? Ну, конечно, газеты этот случай скрывают, – запрещено.

У нас теперь – все предрассудки. А разве от народа скроешь, что камень упал. И еще один камень должен упасть в 24 году, – этот будет много больше, и упадет он около Варшавы, побьет невидимое количество поляков. Так-то. А председатель уездного исполкома по поводу этих разговоров объявил у нас борьбу с предрассудками. Повесили на базаре полотнище, на нем – вошь большая, нечистый с коровьим хвостом и один человек в здоровенных очках, будто бы это англичанин, который нам все дело портит. Дьякон наш до того испугался, забился на ледник, за кадушки, пьяный, конечно, застудился, потерял голос... Эх, Москва, Москва!..

Иван Степанович насадил на крючок майского жука. И опять между небом и землей повис камышевый поплавок. Трепеща, села на него стрекоза, сорвалась и улетела. Зноен был полдень на реке. Опрокинувшись, дремали зеленые берега. Иногда со дна реки поднимались пузыри, расходились водяной пленкой.

– Расскажу я вам необыкновенный случай, – продолжал Иван Степанович, и соломенная шляпа его укоризненно колыхнулась. – Неоднократно пытался опубликовать его в печати, в местной газете. В первый раз – принес им, в местную газету, – угостили чаем, «рады, говорят, пробуждению сил на местах». Благодарили. А в другой раз пришел за ответом, – обступили и давай смеяться, вся редакция, – грегочут, сапогами притоптывают, – «дурак, дурак!» А через неделю вызвали куда следует и – допрос. «С точки, мол, зрения Дарвина оказываетесь вы захребетник рабоче-крестьянской России, вроде херомант». А я – какой я херомант, захребетник, – сами видите. Эхе-хе!

Иван Степанович полез в карман парусинового, до крайности ветхого, балахона, вынул трубочку, закурил, и – пошел дымок сизою стружкой в безветренном зное. Лишь слышно было, как пела пчела, перелетая на тот берег, на медовые кашки.

– История эта случилась за тем мысом, – Иван Степанович кивнул шляпой на опрокинувшийся в речке вдали глинистый обрыв с двумя корявыми соснами, – там в реке –

омут, яма, место это проклятое, называется оно Черный Яр, водятся в нем древние щуки, которой по двести, которой по триста лет. Щука, сами знаете, рыба бессмертная. Под Москвой в прудах поймали щуку, – вся обросла мохом, – и в жабре у нее вдето кольцо с пометкой, что пущена щука в пруды царем Борисом. Ну, хорошо. Революция принесла, как говорится, раскрепощение предрассудка. Но рыбу в Черном Яру, все-таки, у нас теперь не ловят. Боятся. Днем проплываешь мимо Яра – и то волосы дыбом встают. А на ночь пойти с блесной, или верши поставить, – нет, ни за деньги, ни за вино, голову оторвите, – не пойду. Вот, для примера: дьякон наш, не тот, который голос потерял, а другой, Громов, чай, слышали: он в девятнадцатом году сорвал с себя сан, пошел по гражданской части, – шайку себе подобрал из дизиртеров, сидели они в лесу, грабили. Потом это баловство бросил. Так вот, стал он хвастать: «В кого, мол, я верю? – в одну электрификацию верю, а в утопленника в Черном Яру, в Федьку Дьявола – не верю». Пошел на спор ночью с удочками на Черный Яр, пьяный. А на утро лежит дьякон под сосной, весь побитый, исцарапанный, одежда изодрана, сапоги сняты, и денег у него, – двадцать миллионов были в кисете, в портках, – денег этих у него нет. Сам он без памяти, только помнит, что били его и терзали. Ну, хорошо.

Вот какая случилась история. Был у нас портной, Федор Константинович, – хороший портной, но запойный, сами можете представить. Бывало – сидит, как турок, в окошке,

шьет, голова кудластая, ноготь на ноге синий, здоровенный торчит у него, – угрюмый был человек, работающий. Месяца по два головы не поднимал, – шьет, утюжит, – разве только выскочит на крыльцо по личному делу, или вцепится в голову и давай скрести волосы, – чешется. За эти два месяца накопится у него на сердце злость, угрюмство, скука, и посылает он девочку от шабров, – в казенную лавку за полбутылкой. Хорошо если заметят, что он за этой первой полбутылкой послал, – тогда идут к нему и слезно просят отдать назад сукно, или недошитое, – и он зубами скрипит, но отдает. А уж на третий день пьянства начинает рубить заказы топором, озорничает, и с тем топором выбегает за ворота, дожидается – кого бы ему посечь. Благочинный наш так и распорядился, – когда у Федора Константиновича перевалит запой на третьи сутки – бить в малый колокол у Богородицы на Кулижках, – бить унывно, оповещать, чтобы по улице мимо портного не ходили.

С неделю или с две почудит портной и начинает просить молока. Садится на крылечке и пьет прямо из кринки, – сколько принесут горшечков, столько и выпьет. Молоком отопьется, берет он удочки и выезжает в лодке на Черный Яр. Наловит плотвы целое ведро, – рыба его очень любила, – и закидывает живца на щуку. В сумерки, на реке, подопрет щеку, закрутит головой и принимается петь на тонкий голос: не то он зовет кого-то, не то жалеет. Шут его знает...

Благочинный говорил ему сколько раз:

– Федор, возьми себе бабу, женись.

Боже ты мой, только ты помяни ему о бабе, вдруг он почернеет, зубы сожмет, и ноготь у него на ноге – торчком, как клык.

– Нет такой бабы, – ответит, – нет для меня такой бабы, прекращаю разговор.

Думал он о них излишне много, – закрутит нос, молчит, только нитки свистят. Жестокий был человек! Бабы у нас, как ягоды, – румяные, смешливые, страсть хороши бабы. Только и смотрят – слукавить. Эх, бабы, девки! Ни одна, бывало, не пройдет мимо окошка Федора Константиновича, – оглянется, ха-ха, хи-хи, – в рукав носом – фырк, и – шмыг в проулок. Вот тебе и шитье! А замуж ни одна не шла.

Бабы его и довели до беды. Ловили мы с ним живцов у Черного Яра. День был майский, но жаркий. От берегов зной валил маревом. Река – синяя, так бы и упал в нее, лег на дно. Федор Константинович, смотрю, нет-нет да и заслонится с боков ладошками и глядит в воду. Что, думаю, он там высматривает? Подъезжаю тихонько на лодке.

– В воду все глядите, Федор Константинович?

Он, вдруг, как застучит зубами, – борода черная, клочками, зубы, как у людоеда. Отвернулся, стал насаживать на крючек и не может надеть червяка, оглядываться стал, глаза скачут. Вижу – совсем растерялся. Я от греха отплыл подальше, а он – опять за свое, – в воду глядеть. Знаете, что он в реке высмотрел? Вот, через это мне в редакции местной



газеты и кричат: дурак, дурак, а в политическом отделе обозвали херомантом.

Выплыла из омута, из-под коряги, под самую лодку Федора Константиновича здоровенная русалка, – девка, только ноги у нее до колена – рыбы. Верьте – не верьте, дело ваше. Жарко ей, окаянной, и она – рассолодела, в мыслях у нее одно баловство.

Федор Константинович сидит – вылупил глаза. Кровь ему в голову и ударила. И стал он ее подманивать, подсвистывать, червяков ей бросал. Она плавает, поворачивается под лодкой, трется о днище. Красивая девка, крепкая. Нос морщит, пузыри пускает, дразнится. Он ей пальчиком, – «подь, подь сюда», – норовит за волосы ее схватить. Она в глаза глядит из-под воды, не дается. Провозился он с ней до вечера. А на ночь насадил на крючек окуня, закинул в омут и сел на берегу ждать.

Сижу, говорит, и бьет меня лихорадка, в глазах красные круги ходят. В полночь – вызвездило. И ходят круги, ходят звезды, – земля и небо кружатся. Духота. Медом пахнет. Сыро. Мочи нет!

Вдруг, как закипит вода, пена – колесом, шум, плеск, птицы – вороны – с кустов сорвались, и за лесу потянуло. Взяло. И выплывает на песок русалка: крючек у нее в волосах запутался. Портной схватил ее, конечно, за туловище, потащил на берег. Скользящая гадина, прохладная. Выбивается. Дюжая девка. Кусает его зубами, – укусит и в глаза глядит.

Другой человек тут же бы и обезумел. А он уже девку в лес, в чашу, в старое зимовище. За ночь она портного, как говорится, изгрызла, ногтями изорвала. Но, конечно, покорила, – дело бабье...

Иван Степанович шибко засопел трубочкой, прижал пальцами золу. Как щелки стали у него зеленые глаза. И опять потянул сизый дымок.

– Это я все узнал впоследствии. А тогда еще засветло пришел домой, похлебал щей. Э-хе-хе! В прежнее-то время – вот бывали – щи, а теперь все – с оглядкой. Я, конечно, признаю завоевание революции, так-то оно так, но уже и капуста не та, знаете, и мясо – не тот навар, с кислотцей... Ну, хорошо. Лег спать. Утром гляжу – у портного ставни заперты, на крыльце – чужие куры ходят. Вечером гляжу – опять ставни заперты, на крыльце – куры. Пропал портной. Дня через три, однако, он явился: стучится ко мне в окошко. Голова всклокоченная, лицо в ссадинах, но веселое, в глазах – смех, и глаза дикие.

– Дай, пожалуйста, – говорит, – Иван Степанович, мази мне какой-нибудь от комаров. – И сам смеется. – Не для себя прошу, для женщины.

Я подивился, однако дал ему гвоздичного масла. Он хохотнул, ушел. Опять дня через три, смотрю, – портной покупает на базаре шаль московской работы и валеные калоши. Вещи взял и рысью ушел за речку. Некоторое время прошло – глядим: портной на базаре дьякону продает горсть бурмис-

ских зерен. «Где жемчуг украл?» – спрашивает его дьякон. «Нашел в ручье», – отвечает портной дерзко. Чаю, сахару купил, ушел за речку. Духовенство начало шуршать по городу, что непременно портной где-нибудь церковь обчистил. Донесли исправнику. Ах, царствие ему небесное, хорош был исправник. Конечно – крут: кулак у него с кочан капусты. Но, бывало, позовет на именины, на блины: «Иван Степанович, еще рюмочку, Иван Степанович, еще блинков со сметком». И сам сидит, занимает половину стола, усы в сметане, так весь в дыму, в чаду и плавает. Навертит на вилку блинов и – в рот, запивает квасом с хреном. Закармливал гостей до полного несварения желудка. Когда началось потрясение государства, велел он портрет государя императора убрать и на стену повесил свой портрет с надписью: – «временно». Сами понимаете. Петербургского комиссара, – слышали наверное – приезжал такой подслеповатый, щуплый, кашляет, дрожит, – все требовал, чтобы воевали до победного конца, – этого, ученого комиссара исправник в три дня уложил на спирту, нагнал жути, отправил обратно в столицу. До самого октября досидел он у нас исправником. Хотел перевернуться – но сил уже нет прежних. Уехал в Сибирь, где-то его убили. Конечно, бывал он тяжеловат, но все-таки... Бывало, стоит на базарной площади, вытирает шею платком, сюртук нараспашку, гвардейский картуз малинового цвета, лакированные голенища: монумент. Мужики, мещанки торгуют весело, вежливо, в порядке, – только оттого, что он стоит, гля-

дит на пожарную каланчу, хотя все видит, все знает, что у него на возу и под возом. . .

Иван Степанович pokrутил носом. Набил новую трубочку и некоторое время укоризненно глядел на поплавок.

– Портного он самолично арестовал на базаре, а к вечеру, глядим, портной опять идет за речку. Откупился. Издали погрозил кулаком. С тех пор его не видали до самой осени.

Раз, как-то, вечером, уже в ноябре, возвращаюсь я домой, несу паек: дюжину костяных пуговиц и воблу. Ветер бьет с ног, тьма, гололедица. За рекой в лесах, – бух, бух, – пушки стреляют. Жуть. Гляжу, – у портного сквозь ставни брезжит свет. Дай, думаю, керосинчику попрошу. Вхожу в сени. Вдруг Федор Константинович, как зверь, выскакивает из двери босиком, зубы все видны, волосы дыбом, в руке – топор. «Уходи!» «Батюшка, – говорю, – Федор Константинович, ведь это – я!» «Уходи, – отвечает мне тихо, – уходи, зашибу до смерти».

Я ушел. Время такое, что никому не пожалуешься. В эту зиму Федор Константинович брал кое-какую работишку, но в избу, боже сохрани, никого не пускал. Сидел запершись. По вечерам, иногда, слышали в избенке его – топот и смех. Кто-то там плясал, бил в ладоши и смеялся так, – мороз продирает по коже.

Под самый сочельник подходит ко мне на улице дьякон с салазками, – тот дьякон, который впоследствии в леса ушел, главным образом, от принудительных работ: выгоняли его

по ночам пороховые склады караулить. Дьякон мне говорит: «идем в исполком, донесем на портного», и рассказал, какие чудеса у него видел в щель, сквозь ставни. Мы пошли в исполком. Изба натоплена. В красном углу под Марксом сидит матрос, секретарь, и пишет, – всю голову себе своротил, – пишет. Поглядел он на нас подозрительно:

– Вы по какому делу, граждане?

– Заговор открыли, – говорит дьякон.

Секретарь сейчас же перо положил и баночку с чернилами заткнул, прищурился:

– Вот как? – интересно!

– Портной, Федор Константинович, живет с гидрой, – говорит ему дьякон.

– Как с гидрой живет?

– А так и живет. Хорошо вы блюдете рабоче-крестьянскую власть. – Тут дьякон сел на лавку, стал обирать сосульки с бороды. – Так-то вы блюдете... У вас под носом человек содержит гидру, питает ее, по ночам они пируют, пляшут, хохот такой – на улицу страшно высунуться.

– Да какая гидра, гражданин? Не может быть у нас гидры, не полагается, это – суеверие.

– А такая она гидра, – отвечает дьякон, – мордастая, сытая, ходит в валеных калошах, в платке с розами. Гидра обыкновенная. Наделает она вам бедов.

Секретарь крикнул: «Товарищ дежурный»... В дверь влетело морозное облако и появился высокий человек, солдат

головой под самые полаты, в ватной шапке, весь обмотанный попонами, ружье на плече дулом вниз. Секретарь приказал ему арестовать портного и того, кто у него находится в избе. Солдат этот пошевелил замороженными валенками, посмотрел на секретаря, взял ладонью нос, поправил как-то его в сторону: «Ладно, говорит, арестуем». И ушел. А время было, – ночь. Луна яркая, снега невиданные завалили город по самые окна, бело и сине.

Мы ждем. Вдруг – выстрел. Секретарь вскочил, помянул некоторые слова особого содержания и с револьвером кинулся на улицу. Я и дьякон – за ним. Вязнем в снегу по пояс, подбегаем к портновой избе. Окошко раскрыто настежь, напротив стоит высокий солдат в пополах, шапка у него упала, губы трясутся. Мы кинулись в избу, – на столе горит жестяная лампа, на кровати, на печке, на лавках – тряпье, сухие какие-то шкурки, балалайка валяется, пахнет душно, сладко, болотом и печеным хлебом. Около кровати ввернута в стену железная цепь. Обитателей нет. Солдат оправился и говорит:

– «Выходить они добром не хотели, я в ставню и пуганул из винтовки, тут же окно раскрылось и в него вылетела голая женщина, и – прямо на меня, схватила за плечи, в лицо, – ха, ха, ха, – засмеялась и побежала вдоль по улице, по сугробам. Красивая баба, сытая, белая, на морозе так и горит. А за ней выбежал мужик, портной, кричит: „Машка, Машка, ты куда?“ – а она уж около горелых амбаров опять – ха-ха-ха, на всю улицу.

Мы побежали по следам, заворачиваем к речке и видим: по льду к Черному Яру летит белая фигура, подпрыгивает, руками плещет. Луна высоко, видно ясно. За ней бежит портной с топором. И мы слышим: «Машка, Машка»... А она – ха-ха-ха... «Машка, остановись, гадина»... Она – хохочет, как жеребенок. И – вдруг пропала, точно под лед ушла. Портной остановился, бросил топор. Мы подбегаем. Он обернулся к нам и полез вперед ногами в прорубь. Секретарь – вот-вот за волосы его схватил. Портной только зубами скрипнул, ушел под воду. А хороший был портной... Вот такая у нас произошла история, а никто не верит, кричат – дурак, дурак.

Иван Степанович, вздохнув, снял шляпу, провел ладонью по голому своему черепу, отдававшему деревянным маслом, и, вдруг, так сильно рвануло за лесу, что лодка закачалась на зеркальной реке, трубка и шляпа упали в воду, и пошли круги, заходила вода... Иван Степанович крикнул мне страшным голосом:

– Щука, отдавай якорь!